

---

© Тимофей Шерудило

Опубликовано на сайте [www.russian-author.com](http://www.russian-author.com)

Связаться с автором можно по следующему адресу: [tim\\_sher@inbox.ru](mailto:tim_sher@inbox.ru)

## Внутри себя

### Вступительные заметки

«Средство сделаться пророком своего времени теперь то же самое, как и прежде: надобно жить в стороне, с небольшими знаниями, с немногими мыслями и с очень большим мнением о самом себе. В конце концов, у нас появляется вера, что человечество не может существовать без нас, *потому что мы, совершенно очевидно, существуем без него*», грустно шутил Ницше, имея в виду в первую очередь себя. В самом деле, возможно существование не только человека без человечества, но и писателя без читателя... Если бы я точно знал, что пишу свои книги так, как их обычно пишут писатели, – для печати и прочтения, – я относился бы к ним иначе и, наверное, многого бы не сказал, но я этого не знаю и долго еще знать не буду. Впрочем, положение «вопиющего в пустыне» не только мучительно: оно дает необыкновенную свободу. Если я и верю в напечатание своих книг, то как в весьма отдаленное событие; я не воображаю перед собой читателя и обращаюсь *почти что* к самому себе. Себе можно сказать многое такое, чего другим не скажешь. Однако я верю в будущего своего читателя в достаточной мере для того, чтобы вообще писать. Этот будущий читатель, как *мир иной*, виднеется где-то за кромкой существования, – не вполне ясно, но достаточно для того, чтобы придавать жизни глубину и объем.

Пора уже признать, что я принадлежу к трудным для чтения писателям. Но зато в моих сочинениях можно найти *живую* связь мыслей, летучую и непостоянную, взамен мертвой и навсегда установленной связи учебников и философских систем. Я приглашаю читателя быть творцом наравне со мной, чтобы каждый на одних и тех же страницах находил *свою* книгу, и при том не всегда одну и ту же, в зависимости от внутреннего состояния своей души. Бесспорно, было бы лучше найти своим мыслям прочную форму, к которой так способны писатели Запада... Однако я, хотя и желал когда-то стать литератором, из литераторов со временем вышел, а куда пришел – сам не знаю. Знаю только, что добродетели литератора, к сожалению, мне не свойственны. Помните, как Сократ говорил Федру: «если человек составил свои произведения, зная, в чем заключается истина, и может защитить их, когда кто-нибудь станет их проверять, и если он сам способен устно указать слабые стороны того, что он написал, то такого человека следует называть не по его сочинениям, а по той цели, к которой были направлены его сочинения», то есть философом, а «того, кто не обладает чем-либо более ценным, чем то, что он сочинил или написал, кто долго вертел свое произведение то так, то этак, то склеивая его части, то их уничтожая», можно назвать поэтом, или составителем законов, или еще как-то в соответствии с его занятием. Как же назвать меня – если уж нужно как-нибудь называть? Слово «философ» мне не очень нравится. К тому же я не могу сказать, будто «знаю, в чем заключается истина» – это было бы слишком самонадеянно...

Фридрих Ницше говорит: «всегда с особой благосклонностью приветствовали тех “служителей истины”, которые не обладают ни волей, ни способностью судить и ограничиваются задачей найти “чистое, самодовлеющее” познание или, точнее, истину, ни к чему не приводящую. Существует масса безразличных истин; существуют проблемы, для правильного решения которых не нужно никакого усилия над собой, не говоря уже о самопожертвовании. В этой безвредной области безразличия человеку, пожалуй, и удастся делаться иногда холодным демоном познания; и всё-таки, даже когда, в особенно счастливые эпохи, целые когорты ученых и исследователей превращаются в таких демонов, не исключена, к сожалению, возможность, что эта эпоха будет страдать недостатком строгой и возвышенной справедливости, короче – отсутствием благороднейшей сердцевины так называемого инстинкта истины». Если философия есть учение о той истине, которая не может быть основанием поступков, я готов отказаться от притязаний на философское звание и остаться при *любви к мудрости*, о чем и предупреждаю читателя.

Конечно, требовать к себе снисхождения и всегда смешно, особенно в литературе, поэтому между робостью и отвагой писатель должен выбирать второе. Если есть что-то желанное и труднодоступное, можно либо просить о нем, либо брать силой; и то, и другое будет одобрено обществом, только одно – заранее, а другое – впоследствии. Так и я делаю вид, будто смущен своим неряшливым письмом без начал и концов, и всё же пишу по-своему. Смысл произведения

видят в идее, которую оно сообщает обществу. Для лучшего восприятия эта идея должна быть изящно выражена и, если так можно сказать, хорошо подана; впрочем, успех имеют и хорошо поданные произведения, не содержащие никаких идей. Последние даже успешнее на литературном рынке. Мой способ писать противоположен указанному: он сообщает читателю мысли, не заботясь том, как они будут поданы. Эти главы не дают читателю никаких заранее приготовленных заключений, никакой «руководящей мысли», они *вообще отказываются руководствовать кого бы то ни было* на пути, по которому – я говорил это и заявляю снова – можно идти только одному.

По отношению к своим книгам можно быть либо родителем, либо сочинителем. Книги первого рода вырастают из жизни создателей и при благоприятных условиях живут долго. Второй род произведений бывает полезен или занимателен, но, не имея корней в жизни писателя, скоро увядает. Я верю в ценность тех книг, о которых можно сказать, что они – дети жизни своих творцов. Век сей, однако, не верит ни в Творца, ни в творцов, но только в мастера и воина, в орудия и силу. Не надеюсь на его одобрение, но напомним слова, сказанные в более благоприятную для творчества эпоху: «писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным».

25.11.2000

I

\*\*\*

На дне всякого обращения к человечеству лежит поучение, даже если говоривший не думал никого поучать. К речи прибегают либо для того, чтобы поучиться, либо для того, чтобы научить. Мандельштам справедливо поставил рядом речь и учение в стихах о звериной душе: *«Ничего не нужно говорить, Ничему не следует учить. И печальна так, и хороша Темная звериная душа...»* Однако я всё же буду настаивать на том, что всякий, чьи речи оказываются по-настоящему назидательны, в первую очередь назидает сам себя. Только тот, в ком преобладает желание учиться, способен чему-нибудь научить.

\*\*\*

Жизнь, лишённая достижимых целей, ставит живущему совсем другие вопросы, чем та, в которой целей можно достичь, препятствия – преодолеть. Ум в таком положении начинает размышлять не о *способах*, а о *вещах*. К чему знание *способов*, то есть путей, тому, кого опыт убедил в недоступности целей, к которым эти пути ведут? Такая жизнь воспитывает бóльшую сосредоточенность на внутреннем и недоверие ко всему внешнему, а особенно к поискам успеха.

\*\*\*

Тому, кто борется с чувством ненужности своей жизни, легко ответить: «Что же, не делай ненужного, делай нужное!» Но в том-то и дело, что в его глазах всё безнужно; всякое дело расплывается в его руках. Такому человеку нужен *смысл*, ради которого стоило бы что-то делать, а не *дела*, в которых он мог бы найти смысл. В делах смысла нет, смысл всегда им предшествует. Ожесточенная деятельность только временно притупляет чувство ненужности, но не гасит его вполне. В вопросе: «Что делать?» скрыт другой: «На что надеяться?» Не бывает дел без надежды.

\*\*\*

Глубока и утешительна мысль Ницше: «детство и юность имеют ценность и сами по себе, не только как мосты и переходы». В ценность преходящих состояний мы вообще-то верим с трудом: временное значит «ничтожное», благо, которые нельзя удержать, кажется бесполезным. Но мысль Ницше дает успокоение: если она верна, в жизни нет лишнего, юность не «подготовительный курс», но ценное, хотя преходящее, достояние человека. Мысль эта дает и бóльшую надежду: что жизнь по эту сторону смерти, какова бы она ни была, всё же ценна и наполнена смыслом, хотя преходяща. Последнее имеет силу, однако, только при условии веры в духовную природу человека.

\*\*\*

В положении, когда человек хочет одного, а достигает другого, скрыты трагедия и комедия рядом. Комедия – когда это происходит с другими; трагедия – когда это происходит со мной. Все комедии основываются на мысли о том, что некто искал одно, а нашел другое. Однако и все трагедии исчерпываются тем же, с одним только добавлением: иногда (особенно в трагедиях, которые показывает нам Жизнь) герой ищет – *и не находит ничего*. Рок в такой пьесе проявляет себя тем, что *не высылает* событий навстречу герою. Эти трагедии не зрелищные, но самые содержательные.

\*\*\*

Есть красота великого поражения на холодной равнине, под снегом и быстро сбегающим с неба солнцем; красота зимнего дня, в котором всё совершенство, всё законченно и точно, всё сверкает... и всё лишено жизни. Вернее сказать, в его красоте своя жизнь, которая к нам безразлична. Солнце горит, снег мерцает, небо обито блеском... Красота великого поражения.

«Но нужно работать над собой, – говорит общий голос, – улучшать себя, а особенно надеяться, надеяться маленькими надеждами...» Но что делать, если мне опротивели маленькие надежды, и уж если надеяться, то я предпочитаю надеяться на громовое чудо, а до его совершения буду верен своему поражению, то жалуясь, то шутя над собой, но только без слёз, потому что слезы хороши обиженному, несправедливо обиженному, а не тому, кого выбрало добротное большое поражение – достаточно большое, чтобы стать жизненным событием, а не случайной обидой.

«Терпите, – говорит на это общий голос, – главное, терпите и не возноситесь». Велика моя жажда победы, и потому велико терпение, но всё же я скажу вам, что и поражение кое-что говорит о том, кому оно досталось, не только взлет, движение и победа... Что же касается гордости, то я скажу вам, что людей следует мерить разными мерами, каждого по своему росту, так что сравнения здесь трудны, а гордость – безосновательна; если я и больше вынес, то чем это возвышает меня над человеком, которого не испытывала его судьба?

\*\*\*

«Человек, предавшийся унынию, есть дрянь во всех отношениях», писал Гоголь. Как вы думаете, о ком он это писал? О себе он это писал. Всё, что говорится о человеческой душе *со властью*, говорится о собственной душе. Даже тот, в ком видят бичевателя общественных пороков, преследует их прежде всего в себе, или его слова не имеют веса. Осуждать что бы то ни было в других невозможно, даже по невозможности досконального знания чужой души. О чем я сужу, то я должен знать, а знать я могу только свое; «в области человеческого – познания по доверенности не бывает».

\*\*\*

Глубокие мысли производятся борьбой с глубоким, подавляющим отчаянием. Блеск этих мыслей может восхищать посторонних, но они не знают назначения этого блеска. Когда плоды внутренней борьбы износятся на свет, в них видят и остроту, и игру ума, но не знают того, что эти блестящие и острые мысли были только оружием, выкованным для защиты ума от давящей внутренней тьмы. Ум гения вообще, вероятно, не так светел, как принято думать. Там не бесконечный свет, но жажда бесконечного света; не вечный день, но протяженная творческая ночь. День – не время творения; день сам по себе есть уже нечто сотворенное, торжество и успех некоторого предшествующего замысла, итог движения и борьбы; время подлинного творения – ночь, и Библия говорит нам (а мы не обращаем внимания), что мир был сотворен *ночью*, и только потом стал свет... Самые светлые мысли, из тех, что озаряют жизнь человечества, были вынесены из внутренней темноты, в которой Бог подталкивает человека и принуждает его сделать шаг, несмотря на то, что пути не видно. Так приходят на свет истины: ощупью, по темным тропинкам, над темными водами... Кто осветил путь человечеству, тот сам немало времени провел во тьме.

Вера делает жизнь неразрешимой загадкой, бросает на пути ключи смысла, но прячет двери, которым подходят эти ключи. Чем менее милостива к нам жизнь, тем больше она искушает нас чувством близкой разгадки, тем чувством, которое делает возможной поэзию, то есть понимание без познания, непосредственное вчувствование в правду и красоту вещей... Не всё в душе свет,

даже в душе, освещенной верой. Бог есть Бог сокровенный. Он ищет человека, когда тот в сомнениях и печали. Бог встречает человека в темноте и требует от него, чтобы тот шел, всё шел не останавливаясь, хотя бы человек и желал только покоя... И есть скромность у Бога: Он никогда не говорит от Собственного имени; те, кто рассказывают о каждодневных с Ним разговорах, ищут славы больше, чем истины; я же утверждаю, что Бог молча встречает человека в темноте и так же молча направляет его на путь – вернее сказать, принуждает выбрать свой путь, – хотя человек бы и рад избежать такого выбора. Нет, вера не состоит в беседах с Богом; я сказал бы, что Бог немногословен. Глубокие мысли производятся борьбой с глубоким, подавляющим отчаянием.

\*\*\*

Всё недоступное прекрасно, всё прекрасное недоступно. Жизнь выходит из непостижимых основ и стремится к неприступным целям. Пока мы в этой жизни, нам доступны не начала, но представления о началах; не концы, но только пределы стремлений, дальше которых нельзя зайти... Всё загадка и темнота, и в том же время в себе самих мы чувствуем свет и ключ к мировой темноте и загадке. Так становятся поэтами и философами: от двойственного чувства внутреннего света и окружающей темноты.

\*\*\*

В каждом начале видеть конец – дурной склад ума, но зоркий. Кроме начал и концов, в каждом деле есть середина; она-то и ускользает от такого взгляда, но зато отдаленные следствия и неясные причины он видит острее, чем глаз, привыкший к созерцанию середины, то есть существующего порядка вещей. Мир перед таким взором становится более связным, но и более подвижным, текучим, поскольку средние состояния исчезают из поля зрения, и каждое начало непосредственно перетекает в свой же конец. Мир для такого глаза всегда окрашен в цвета зари, утренней или вечерней, он всегда или только становится, или уже угасает. Чувства наблюдателя причин и концов обострены, и всякая жизненная пьеса выглядит для него драмой.

\*\*\*

Говорить о русском человеке или о человеке вообще можно только с мыслью о самом себе; в отсутствие самопознания суждения о человеке беспочвенны. Я могу говорить о «человеческом» лишь в ту меру, в какой знаю это человеческое в себе. «Наблюдение людей», вопреки расхожему мнению, не помогает познанию человека, потому что душа не наблюдаема и известна только *внутреннему человеку*, который, по апостолу Павлу, всех судит, а его самого никто судить не может.

\*\*\*

Красота нами обладает, мучает и жжет, а кто от нее откажется, кто согрешит против красоты, тот наказывается собственной пошлостью. Нельзя не признавать красоты и при этом не быть пошляком. И в то же время видеть в мире красоту – едва ли не горше, чем жить без нее, потому что повсюду в покрове красоты, на мир наброшенном, видны разрывы, и в них ужас.

\*\*\*

И всё-таки мы стремимся к прекрасному, хотя время и обстоятельства меняют наше о нем представление. Вернее сказать – дойдя до определенного предела, душа начинает стремиться к прекрасному, до того ее занимает только *приятное*... Прекрасное же – *то приятное, от которого нет пользы*. Прекрасно в первую очередь то, что хорошо и бесполезно. Там, где в оценку человека или явления входит мысль о его пользе, еще нет места прекрасному. Красота показывается только бескорыстному оценщику; красотой можно назвать только то, что влечет душу к себе и при этом не может ей принести никакой пользы.

\*\*\*

В каждой сложной и богатой жизни есть смысл – особенно если его не искать, а принимать вместе с жизнью. Отдельного от жизни, не вмещенного в чувства, дела и слова – смысла и не бывает. Его бесполезно искать, им можно только обладать; стоит за ним потянуться, как его нет.

Вглядываться в лицо своей жизни – или своего смысла – не бесполезное и не бесстыдное любопытство. Если можно так сказать, мы *учимся у смысла своей жизни*, а не учим смыслу жизни других. Последнее никогда не бывает успешным.

\*\*\*

Мысль, в русской литературе последний раз высказанная Львом Шестовым: что в человеческой душе Бог видит и награждает что-то совсем другое, чем добро и зло, как они нам известны, дает великое освобождение, но и лишает нас почвы под ногами. Чтение Шестова нельзя посоветовать тому, кто ищет «правил жизни» и «утешения мудростью». За правилами и утешением идут обычно к Церкви и философии, идут те, кто не хочет знать Библию и Платона. Поверхностное отношение к важнейшим вещам – самое безопасное к ним отношение. Церковность, как и «философский взгляд на вещи», легче всего для тех, кто не знает ни Писания, ни писаний. Как только у человека является свой, интимный взгляд на веру и мудрость, он делается непригоден для общественной жизни в этих областях. Из читателя книг он переходит в разряд тех, кто эти книги пишет; это совсем другое. В обществе есть неиссякаемый спрос на желающих подчиниться: на каждого желающего отдать свою волю найдутся руководители, готовые его пасти. Философ и истинно верующий – тот, кто неизменно *бродит один*, не разделяя общих страхов и влечений. Он не бесстрастен, как думают, но и страхи, и влечения у него *личные*, неразделенные с большинством.

//

\*\*\*

Мы пишем и говорим, безусловно, для себя. Если нас окружает культура – как среда, в которой могут обитать мысли, – то наши слова могут передаваться другим, и иногда бывают поняты. Но этой благоприятной среды могло бы и не быть, я думаю даже – ее уже нет; слово не обесценивается этим. Как внутренняя человеческая способность, речь остается всегда с человеком и продолжает его отличать от зверей – даже и на безлюдном острове. Мысль ныне попала на такой остров, и ей остается либо умолкнуть, либо признать свою ценность достаточно большой даже и в отсутствие способных оценщиков, вообще без оценщиков, на полном безлюдье... и продолжать свой как бы бесполезный труд.

\*\*\*

Трезвая самооценка в глазах общества может быть трудноотличима от безудержного бахвальства. Непризнанным писателям, скажем, это должно быть известно: у них есть (или бывают) такие основания для мнений о себе, которых общество не имеет. С точки зрения большинства их притязания смешны, ведь большинству хорошо известно, что правота рождается от численного перевеса. Всякий одиночка, который сталкивается с неблагоприятным обществом, знает обратное: прав испытывающий судьбу, а не те, кого судьба уже испытала и признала негодными.

\*\*\*

Человек, ненужный своей эпохе, вправе о ней судить: они друг в друге не заинтересованы. В его положении основной задачей, однако, становится не суд или проповедь, но сохранение внутреннего равновесия. Кому-то она может показаться ничтожной, но в сущности это задача Иова, который тоже некогда был поставлен в невозможное положение, из которого не было выхода. «Зачем свет человеку, пути которого преградил Господь?» Пока Иов был счастлив, этот вопрос казался ему бессмысленным, как и большинству людей. Но в безвыходном положении он становится *важнейшим* вопросом. Оценка творчества Ницше, например, должна исходить не из воображаемых образов величия и силы, которые он рисовал, говоря о Сверхчеловеке, а из действительных страданий и болезней, с которыми он всю жизнь боролся, из слабости, которая и подвигла Ницше на проповедь сверхчеловечества....

\*\*\*

Общество, в котором пишутся поэмы, гораздо лучше обеспечено от нравственного упадка, чем то, в котором поэмы не пишутся. Внешне бесполезные занятия говорят о душевном благополучии. Написание поэм – одно из безусловно бесполезных занятий, так как хотя и предполагает будущего читателя, но представляет собой долгий и одинокий труд, полезный исключительно для души поэта. Всякий одинокий труд благороден, потому что не ищет немедленной оценки.

\*\*\*

«Тому, кто пришел не вовремя, не следует жаловаться на то, что его не встречали. Поэт, всякий человек творчества, – всегда несвоевременный гость; в благоприятные времена ему радуются, в дурные времена его гонят. Мы живем в дурные времена. Стоит ли из-за этого огорчаться?» Так мог бы утешать себя поэт. Есть ли в таком утешении правда? Всё-таки мы рождаемся с готовностью и стремлением к радости и красоте, и когда в своей жизни их не обретаем, то испытываем горечь, который в жизни на самом-то деле, может быть, и нет: в ней есть только отсутствие радости, а это не то же самое. Истинные ценности можно определить как предметы наиболее долгоживущих стремлений. В конце концов, жажда богатства и власти быстро утоляется; она, следовательно, направлена к второстепенным ценностям. То, к чему мы стремимся по-настоящему долго и иногда безуспешно, – действительная ценность. Иначе говоря, ценность есть то, о чем можно мечтать. Только очень несложные люди мечтают о власти и силе...

Бесспорно, определение ценности как предмета наибольшего вожеления уязвимо: поскольку здесь нет общего согласия, постольку приходится признать либо отсутствие, либо *множественность ценностей*; признавая множественность ценностей, приходится принять и подчиненность одних ценностей другим, отношения высших и низших. Если же в самом деле существуют высшие и низшие ценности, как и соответствующие им стремления, то решения, основанные на равенстве мнений и числе голосов, – эти решения в большой чести в наше время, – эти решения немного стоят. Что толку складывать и делить голоса, если они имеют неравный вес?..

Определение ценности как предмета стремлений можно выразить и иначе: «то или иное ценно, потому что я этого хочу». Не слишком ли непрочна эта основа? В таком случае ценности всецело отдаются на волю человечества; а если однажды человечество, всем своим составом, устремится к дурному?.. Не переменятся ли тогда «вечные ценности»? Полагаю, отдавать ценности на волю человечества не страшно. Для своего проявления они в самом деле нуждаются в душевной жизни; для света нужно иметь око, для истины – душу. Угашение высшей душевной жизни упрощает и признаваемые обществом истины, пока они не доходят до самых первоначальных: до истин добывания пищи и охоты на слабого... Человечество хочет дурного тогда, когда глаза его души закрыты. Зло побеждает в темноте.

\*\*\*

Между писателем и нашей эпохой возможен такой разговор:

– У тебя было столько путей к довольству: только погляди вокруг! Ты же выбрал сомнительный путь, который в это время и в этой стране не ведет ни к чему, кроме гибели.

– В таком случае я предпочитаю погибнуть, но погибнуть писателем. Писатель есть око своего времени. Отказаться от сего почетного места значит не только унижить себя, но и оставить во тьме свое время. Понимайте, как знаете!

– Ты достаточно откровенен или бесстыден, чтобы поверять обществу свои душевные тайны, твои книги служат твоим жизнеописанием, и притом твоя жизнь – только канва, по которой вышиваются образы... Неужели ты веришь, что чья-либо жизнь может быть настолько ценной, чтобы стоило делать ее достоянием других?

– Я писатель в эпоху, которая не нуждается в писателе, и потому несчастен; я писатель, и потому моя жизнь имеет смысл; иначе говоря: я писатель, и потому несчастен. Благополучием меня больше не соблазнить, хотя, как и всякий человек, я не хотел бы преждевременно погибнуть. Некоторые просят у Бога довольства, успехов, счастливой жизни; я прошу только времени для того, чтобы сказанное мной укоренилось и принесло первый плод. Это глупо? Чего вы хотите – я же писатель!

– Но ты мог бы писать для себя, а жить для других.

– В том-то и дело, что я пишу как раз для других; будь я один на свете, мне хватило бы и восхищенного и задумчивого созерцания; но я брошен в населенный мир, и потому не могу удовлетвориться созерцанием; я должен *рассказать или умереть*.

\*\*\*

– К чему противиться духу своего времени? Может быть, твои ценности и хороши, но они призрачны. Откажись сразу от всего, раскайся, и из рук этого сильного духа получишь спокойствие и свободу. Тебе больше не придется защищать ценности, которые не могут защитить себя сами!

– У того, кто однажды подчинился, не будет больше ни спокойствия, ни свободы. Он будет переходить из степени в степень подчинения, пока не потеряет всего себя. Всякая сила успокаивается только тогда, когда перестает встречать себе сопротивление – таков и дух времени: ему нужно либо подчиниться вполне, либо не подчиняться вовсе.

\*\*\*

Либо общество ищет правды – в этом случае оно может соглашаться или расходиться со своими писателями, венчать их или забрасывать камнями, – либо оно не нуждается в правде. Тогда писатель в нем будет лишним, как излишня в этом обществе правда. Общество не имеет силы прочно устроиться на других, кроме правды, основаниях, но у него достаточно сил, чтобы погубить или просто заставить молчать ненужных ему искателей правды.

///

\*\*\*

Всякий проявляющийся в творчестве дар можно определить и как неспособность останавливаться там, где останавливаются все. Человек дара идет слишком далеко, за черту благоразумия, и именно поэтому находит то, чего не нашли другие.

\*\*\*

Творчество есть свет, озаряющий душу изнутри. Трудность не в том, как его получить, так как этот внутренний свет дается даром, трудность в том, чтобы сохранить его. Внутренняя веселость, легкость, даже легкомыслие нужны для того, чтобы придавать значение не давящей действительности, но легким, почти призрачным созданиям своей души. Жить, просто *приняв в себя действительность*, невозможно. Напротив, нужно наполнить действительность своей душой. Положительное знание о мире есть всегда только знание о том, *чем вещи не являются*. Перечисляя отличия и признаки, оно не касается сущности – то есть смысла – предметов, поэтому единственный источник душевного богатства, творчества и всякого добра находится не снаружи, но внутри человека. Знание о привычках вещей никого еще не обогатило, не обрадовало и тем более не сделало способным радовать других... Да оно еще и обманчиво, так как соблазняет исследователя почувствовать себя творцом, тогда как он только наблюдатель. Внешний мир, вообще говоря, случаен, он мог бы быть и иным, следовательно, нелепо к нему приспособливаться и в нем искать утешения. Искусство жизни не в том, чтобы поставить в новое сочетание данные от века внешние вещи, – пусть этим занимается техника, – но в том, чтобы придать своей душе определенное положение относительно внешних вещей и сохранить его без смущения до конца.

\*\*\*

Жизнь богата содержанием настолько, насколько содержательна и богата душа живущего. Смысл есть внутренняя связь явлений. Жизнь отнюдь не бессмысленна, но чтобы усмотреть богатство ее внутренних связей, нужно как можно большее, если не сравнимое, число связей иметь внутри себя. Мир отражает познающего: мудрый видит в нем мудрость, а простец – простоту. Мир постигается только через самосовершенствование; внешние знания «о привычках вещей» недостаточны, если не дополняются хорошим знанием собственной души.

\*\*\*

В глазах общества всякий творец безумен, и хорошо ему, если он сумеет это безумие скрыть. Творец посягает на самое святое предание: на успокоительную уверенность в том, что большинство всегда право, – ложь, которая только и обеспечивает уютное существование всякого множества. Победившей силе обязательно нужно найти вескую, независимую от нее самой причину своего торжества. Самооправдание есть занятие сильных. Слабость, неуверенность, болезнь ищут, как бы *уцелеть*, – силе нужно оправдать себя и завоеванное положение. Небогатая смелостью, она всегда удивляется бесстрашию бессильных. Так один тиран ценил непокорных ему поэтов.

\*\*\*

Искренность не заменяет дарования. Дарование, больше того, умеет быть холодным, то есть как бы неискренним. Способность быть холодным, говоря об огненных предметах, можно счесть признаком настоящего дара. Дар умеет отделять переживание от изъяснения; первое требует внутренней теплоты, второе – спокойствия и ясности. Пушкин отделял вдохновение от восторга; Ходасевич, умнейший русский поэт столетия, даже предлагал отказаться от имени: «вдохновение», по всегдашнему смешению этого состояния с восторгом... И всё же вдохновение есть. Смешение вдохновения с теплотой чувств – опасность молодости. Юноше следовало бы заниматься *жизнью*, а не искусством, потому что последнее нуждается в мудрости. Нужно понять, что *жизнь, как ты мечтал о ней, не удалась*, чтобы успешно заниматься искусством.

\*\*\*

Жизнь имеет оправдание настолько, насколько она занята творчеством. Опыт, страсти и наслаждения ценны не сами по себе, но только как почва, из которой растет творческий труд. Мир дивен, можно им наслаждаться, но не добавит к огромному Творению свою долю – значит даром есть хлеб. Если – я повторяю: если! – наша жизнь не напрасна... А я всё же верю, несмотря на все видимости, что она не напрасна.

\*\*\*

«Испепеляющая жизнь, – говорил Ходасевич, – более всего ценится в поэте». Сколь много *душевердных истин* поэт встречает только потому, что недостаточно осторожен; при большей любви к себе он был бы добродетельнее и невежественнее. Но истина жжется, истина вредна для души и в руки спокойным, рассудительным и добродетельным не дается. Чтобы узнать о человеке чуть больше, нужно отдать или спокойствие, или доброе имя, или спокойствие и доброе имя вместе. «Неужели многие и великие грехи влекут ввысь? – Совсем напротив».

\*\*\*

Одиннадцатая заповедь поэта говорит: всякое удовлетворение, находимое помимо творчества, безнравственно. Будь чем хочешь, делай, что хочешь, но твори. Малодушие поэта (под которым я, как всегда, имею в виду человека творчества вообще) и состоит в том, что он берет первую часть этого правила: «делай, что хочешь...» без второй: «...но твори». В этом сущность не только творческой, но и всякой иной свободы. Никто не выше нравственности, но всякий за свою свободу должен платить, платить – и поэт за нее платит творчеством, в огненной печи которого он сжигает свою душу.

\*\*\*

Самые личные переживания и есть самые общечеловеческие. Очищенные от всего случайного, обычно и называемого «личным», они говорят о душе, а не о житейской пыли, в которую эта душа погружена. Живописцем таких переживаний был Достоевский, которого, однако, не принимают люди, требующие от литературы «картин». Ничего «картинного» в описании душевной жизни нет, но красота – красота пламени, с которым только и можно сравнить внутреннюю жизнь духа, – в них присутствует. Душа подобна именно пламени; Ходасевич верно сказал о ней: «Живу, а душа под спудом, каким-то пламенным чудом, живет помимо меня».

\*\*\*

Важнейшее место в духовной жизни человечества занимает поэзия, как знание о том, чего знать нельзя. Перед поэзией должны склониться умения и науки, потому что устранить из бытия смерть никакая наука не может, а поэзия и смерть, и тревогу, и опасности объясняет, им придает смысл и лишает их жала. Наука не входит в число жизненных человеческих потребностей, а поэзия входит. Наука роскошь, а поэзия хлеб, потому что ни сражаться, ни трудиться, ни любить, ни умирать без поэзии, *то есть без правды*, – нельзя, а без науки – можно. Может быть, настанет день, когда наука победит правду. Тогда жизнь человечества будет объяснена до конца – и лишена смысла, так как смысл жизни выше всей совокупности ее механических причин.

\*\*\*

Не содержится ли внутри жажды творчества – стремления к власти? Не трудится ли творец ради власти над своим творением? Несомненно, послушность материала под руками творящего служит поощрением для этих рук. Сладко вообще налагать свою волю на вещи; в этом смысле никакое человеческое дело не обходится без «воли к власти»... И в то же время, творчество – не только дело воли и власти, но и дело *отцовства и снисхождения*. Всему творимому творящий – отец, к нему он снисходит с любовью и желанием увидеть свое подобие... Творчество во всех его проявлениях есть поиск и созидание зеркала, в котором бы отразился творящий, но зеркала живого. Смысл творчества можно определить как постепенное *одушевление мира*, начиная с самого акта творения; человек тоже ищет, кому передать свою душу, и передает ее камню, и книге, и собаке, насколько он хочет и может творить.

\*\*\*

Мало высказать правду, нужно еще и высказать ее сильно и ясно, чтобы каждое слово не только *было*, но и *звучало* правдой. Темно выраженная правда, косноязычная правда – бессмыслица, сочетание несочетаемых понятий. Что истинно, то хорошо сказано; запинаясь только ложь. Однако есть и обратное движение: ложь также стремится если не к ясности (это для нее недоступно) и не к красоте (и здесь мировой порядок беспощаден), то к величию. Величественная ложь имеет большее действие на умы и начинает нравиться самой себе – ложь очень щепетильна и прежде всего хочет нравиться, здесь ее большое отличие от житейски неопытной правды, которой в общем-то безразлично, что о ней подумают.

\*\*\*

Чтение – самый распространенный способ общения с духами; ведь большинство писателей находятся уже *за краем мира*, так что литература представляет собой самое обширное завещание. Всякий читатель – немного чародей, немного заклинатель умерших. Чтение принадлежит к разряду обиходных чудес.

\*\*\*

Гений извлекает из действительности еще более действительное и создает мир, которого нет, но в котором всем нам хотелось бы находиться, и при этом не говорит ни одного слова неправды. Чем более желанны истины, тем они истиннее и тем дальше они от несовершенной и темной жизни, из которой были извлечены. «Чем желаннее истины, тем они истиннее», вы понимаете, что это значит? Это значит, что в человеке вкоренена правда, он *сын правды* и связан с ней так тесно, что даже когда лжет, чувствует стыд и необходимость оправдания; даже последнюю ложь он старается приблизить к правде.

\*\*\*

Писатель мог бы сказать читателю о своих книгах: – Основные идеи? Вычитайте их. Философия? Пропустите ее. Оставьте только непосредственное отношение души к миру, не оформленное словами, или хотя бы попытайтесь найти его среди слов. Автор воспринимал мир некоторым особым образом; бытие для него имело определенный вкус и цвет; ради этого и пишутся книги, это в них и ищите. Помните, как говорил Розанов: «Кто писатель? У кого в душе всю жизнь звучит музыка». Мироздание было любовью и музыкой моей души, – может сказать писатель, – и

насколько мог, я передавал эту музыку словами. Все слова, впрочем, слабы для того, чтобы высказать ощущение живой нити, протянутой между миром и душой, натяжение и колебания которой мы и называем творчеством.

\*\*\*

Книги суть пройденные и оставленные пути их создателей. Писатель всегда находится по ту сторону последней страницы; любая книга – только цепочка следов, ведущих к автору, но не сам автор. Читатель же хочет видеть в книге автора и ленится ходить по следам. Книга не автор, но только пустая комната, оставленное жилище души, еще более вторичное, чем тело. Писателя нет здесь, он ушел дальше.

\*\*\*

Способность к творчеству и способность к умственному труду – две разные вещи. Всё годное и долговечное и правдивое в мире создается творчеством; умственный труд занимает в жизни подчиненное, служебное место: он не ставит задачи, но только разрабатывает уже поставленные. При этом ум завидует творчеству и всячески подделывает плоды своей трудной работы, добиваясь их сходства с легкими и своевольными произведениями творчества. Известная, если не преобладающая, часть философии состоит как раз из плодов натужных размышлений, имевших в основе всё, что угодно, кроме вдохновения. *Ученый* – тип человека умственного труда в чистом виде: он трудится над фактами, но не создает фактов, тогда как творчество на каждом шагу создает новые факты человеческого существования, и постепенно из совокупности этих фактов складывает культуру. Творчество выкладывает камни в стену – ум разнимает стену на части и изучает отдельные камни; он оказывается удивительно беспомощным, когда сам берется за непривычное дело строительства, даже если предварительно избавится от соперников, как Платон, который не прежде принялся за идеальное государство, как удалив из него поэтов.

\*\*\*

Книги создаются из материала неутоленных желаний. Если бы всякое движение души находило себе законченное и полное воплощение, мир был бы иным и, кроме прочего, в нем было бы гораздо меньше произведений искусства, которые – по большей части – питаются неутоленными стремлениями. В чем разница искусства и науки? Искусство говорит о том, чего *жаждет* человеческая душа; наука – о том, что она находит в мире и чем обладает. Истина, на мой взгляд, находится в области душевной жажды: чего нам наиболее остро не хватает в мире, то и правда; то же, чем мы обладаем, – *только факты*, у которых нет никакого нравственного значения.

С другой стороны, всё это можно рассматривать как самоутешения человека, обиженного Богом. Чтобы не мучиться постоянной язвящей болью, такой человек воздвигает алтарь недоступным для него ценностям – жизни в обществе, одиночеству, любви – и возвышает свою боль до религиозного преклонения, и в этом преклонении его страдания делаются терпимее, очищаются, становятся не только ужасными, но и *прекрасными*... «За что Бог меня мучает, – говорит такой человек, – это мне неизвестно; но я почитаю Его волю и ищу в ней смысл и оправдание своих мучений».

Такое отношение к вещам кажется нашей эпохе безумным, но только оно позволяет сохранить душевное равновесие перед лицом постоянно враждебной жизни.

## IV

\*\*\*

«Не испытывай нравственности другого; не умаляй его свободы, увлекая за собой, потому что ты не знаешь, куда придешь». Так можно было бы выразить наименьшие обязанности к другому, но гораздо труднее определить наименьшие обязанности *по отношению к самому себе*. Неизбежно время от времени возникают «моралисты» – те, кого не устраивают господствующие определения нравственности. Они обращаются к человечеству, но волнуются прежде всего о спасении собственной души, и так как они не ищут власти над чужими душами, названная заповедь для них легка. Им тяжелы только обязанности по отношению к самим себе. Таких людей не следует смешивать с праведниками: они не праведны, но, если угодно, смутились

общепринятым понятием о праведности, нашли его расплывчатым и непригодным; к тому же они далеки от неведения в области дурного: нравственные поиски предполагают известную искушенность. Скитания в поисках новых определений нравственной годности, подобные скитаниям Ницше, Достоевского или Толстого, говорят как о неспособности счесть себя хорошим по общераспространенным меркам, так и о нежелании признать себя вполне, совершенно дурным. Их занимает спасение души, и только во времена усталости, по верной мысли Льва Шестова, они обращаются с нравственной проповедью к человечеству.

\*\*\*

Наслаждения делятся на низшие и высшие не потому, что одни из них «безнравственны», а другие нет. Наслаждения духа – наслаждения роста и развития; низшие наслаждения имеют *истребляющий* характер по отношению к тому, кто их испытывает. Конечная точка низших наслаждений есть *самоуничтожение*; завершение наслаждений духа, если его можно вообразить, было бы *трезвостью и полнотой бытия*, бытием во всей его возможной мере. Можно сказать больше: дух в человеке есть то, что ищет жизни. Высшие цели духа не самоубийственны. Грешник приближается к смерти настолько, насколько пренебрегает духом, то есть ищет *истребляющих благ*. Стремлениями к этим истребляющим благам отмечены иные эпохи в жизни человечества.

\*\*\*

«Хорошим» называется человек, которого поступки несложны для понимания. Обладание определенным талантом весьма трудно совместить с именем «хорошего человека», и чем больше этот талант, тем больше будет сомнений у оценивающих и истолковывающих. Внутренняя сложность личности препятствует, видите ли, легкому пониманию ее душевных движений. Чтобы быть «хорошим», нужна достаточная внутренняя несложность, даже неискушенность. Всякое новое знание о человеке, вроде того, каким нас обогащают Пушкин или Достоевский, или причиняет вред душе познающего, или тяжело для нее, но во всяком случае лишает ее невинности и права называться «хорошей».

\*\*\*

Человек мельчает в меру величия плодов своих дел. Достоинство поступков измеряется тем, в какой степени это были поступки для себя и своей пользы, но *с обратной стороны*. Все настоящие подвиги ничего не дают героям, потому и ценятся. Доброе дело, совершенное для себя, не имеет ценности; подвиг для себя также ничтожен. Способность бесполезных поступков – я утверждаю это! – мера достоинств личности. «Разумное себялюбие» не ведет не только к «общему счастью», но и к счастью личности. Счастье выше выгоды и лежит совсем на другом пути; достигается оно благодаря способности не только стремиться, но и *отказываться и оставлять*. Кто неспособен ни от чего отказываться, во веки не будет счастлив.

\*\*\*

Зверообразного человека делает отвратительным не звериное, но духовное в нем. Он противен не как зверь, но как искаженный и опошленный дух. Зверь духа не имеет и потому мил. *Низшее в человеке происходит не от скота, но от духа*. Дух руководит человеком во всем, в восхождении и в падении равно. Не дурно «быть, как звери» – греха тут нет, – дурно только забвение человеческого долга. Неправильно говорят о «животных наклонностях»: пороки суть заблуждения дурно направленного духа; они *целеустремленны, как всё духовное*, а главное отличие животного как раз в том, что оно не знает целеустремленности.

\*\*\*

В области нравственного есть два рода вопросов. Разрешение первых не зависит от мнения или привычки большинства: это самостоятельные нравственные вопросы; тогда как в области вторых нравственно считается следовать мнению большинства, каково бы оно ни было. Истинно-нравственное только то, что от места и времени не зависит, те же вопросы, решение которых отдается на суд времени и месту, на самом деле не нравственны, однако в области именно этих вопросов время и место *наиболее беспощадны*. Верность государству ценится выше верности людям. Мнения общества значат больше, чем личная совесть. Рано или поздно такая

нравственность, *основанная на суждениях других*, признаётся ловушкой для человеческих душ; это случалось и будет случаться; но из сетей догмы и морали душа выходит не в пустыню дикой свободы, а на поиски нового определения жизненной правды. Догму ждёт смерть, и мораль ожидает крушение, но жажда правды переживет обеих.

\*\*\*

Есть вещи, которых сам себе простить человек не может; он может только пойти с ними к Богу и попросить прощения у Него. Светская мораль, с ее верой в то, что человек может простить себе всё, что угодно; с ее взглядом на совесть как на неудобство или подлежащую лечению болезнь, – эта мораль истребляет стыд, то есть изымает из жизни ее нравственный двигатель. Можно сказать: «я хочу себе совершенства потому, что несовершенным быть стыдно». Люди сильные и потому бесстыдные не оказывают решающего влияния на судьбу человечества, вопреки видимости. Их достижения велики, но кратковременны. Царь, который казнил пророка, в истории остаётся только как царь, который казнил *того самого* пророка.

\*\*\*

Борцы против идеи бессмертия души защищают свое право грешить. Если душа бессмертна, то грехи в сей жизни вменяются и в будущей; если же нет – делай, что хочешь! Идея бессмертия души есть идея *личной ответственности*, оттого так яростно на нее и нападают. На смерть материалисты смотрят, как на благодеяние, потому что она *отпускает их грехи*: нет продолжения, нет и последствий. Смерть для них – возможность улизнуть, не уплатив по счету. Ненависть к идее бессмертия души имеет исключительно этический характер.

\*\*\*

Святой укоряет себя за всё, ребенок – ни за что. Обычная нравственность находится между ними, но по-настоящему в нравственной области хороши только крайности. Средняя нравственность, с ее способностью к бесконечному растяжению и вечным нарушением заповеди: «да не последуешь за большинством на злое» так же неприятна, как горделивая «праведность», которую часто смешивают со святостью, ее противоположностью: вместо того, чтобы укорять себя, «праведник» укоряет *других*. Вообще нравственный уровень человека определяется его неумением чувствовать себя жертвой и делать жертвами других. Человек высоких душевных качеств страдает больше других, но при этом не чувствует себя самым несчастным, и притом, насколько это возможно, не делает несчастными окружающих. Дети видят признак мужественности в умении «не жаловаться»; нравственность также есть умение страдать – и не жаловаться, ходить во тьме – и светить другим.

\*\*\*

В области нравственного святыней являются свобода и желания другого. Кто нарушает чужую свободу, тот безнравствен. Кто любовно охраняет ее, тот чист. «Почему я должен ставить другого судьей своей свободы?», спрашивал апостол Павел. Нарушает нравственность как раз желание стать судьей и мерой чужих стремлений.

\*\*\*

У нас нет выбора, кроме как быть духовными существами. Иначе – ужас, животная тоска без животных радостей, черный бессмысленный омут... Высшие способности требуют от владельца религиозности или сумасшествия; нельзя быть «просто человеком», вернее, «просто человеком», идеалом среднего состояния человеческого, можно быть только при средних же и способностях. Где способности выше обыкновенных, там нет возможности внутреннего равновесия на такой шаткой опоре, как «здоровый смысл» или «естественные влечения». Там человек узнаёт безумие «смысла» и бесцельность «влечений», хотя и не становится оттого святым, но продолжает, с еще большим жаром продолжает мыслить и увлекаться.

\*\*\*

Парадоксалист бы сказал: «Есть мужество – следовательно, есть Бог и вечная жизнь, потому что иначе в стойкости перед угрозой нет смысла: зачем отодвигать и без того неизбежную смерть? Мужество делается понятным только при вере в том, что дела и поступки не бессмысленны, т. е. имеют и будут иметь последствия; что жизнь важна *вся*, не только в ее достижениях или ее венце; что борьба имеет целью не простое самосохранение, но улучшение личности, ценное и в последующей жизни». Говорить так, однако, значило бы «толковать смысл в понятиях жизни», как предлагал Лев Шестов, т. е. искать смысла в вещах, а не в нашем мнении о них, а это с некоторых пор считается большим грехом в философском мире... То дивное ощущение *смысла во всем*, которого не стыдился еще Гегель, стало считаться постыдным.

\*\*\*

Нравственность добровольная и принуждаемая сильно разнятся в цене. Однако человек весьма часто бывает слишком высоко развит для того, чтобы быть нравственным по принуждению, и недостаточно – чтобы быть нравственным добровольно. Здесь область свободы и наибольших мучений; пути назад, в мир принудительной нравственности и добровольных пороков, из нее нет. О человеке, находящемся здесь, восклицал ап. Павел: «чего желаю, того не делаю; что делаю, того не желаю; о, кто избавит меня от тела смерти сего?!»

\*\*\*

«Скептицизм» означает постоянно присутствующую заднюю мысль и вечную раздвоенность: «я делаю это, хотя мог бы делать и то», иначе говоря, скептицизм есть неспособность личности вложиться во что-либо вполне. Дела его всегда половинчаты и непрочны. Скептик подрывает свою силу раздвоенностью, и затем из своего бессилия делает кумира, доказательство общего бессилия человеческого. «Я слаб и не могу, значит, дело, какое я выбрал, вообще превышает человека и над ним можно насмеяться, как над ненужным», говорит внутри себя скептик. *Личную негодность* скептик превращает в личную доблесть. Так добродетелями становятся неверие, шатость совести и любовь к себе.

\*\*\*

Неправда наказывается, но и правде негде приклонить голову. Будь лжецом, и тебя накажет Бог; будь пророком, то есть слугой правды, и тебя накажет мир. Только равноудаленная от правды и лжи середина может быть безмятежна, но тот, кто выбирает *служение*, выбирает и наказание: служа одному, он понесет наказание от другого. Следует сказать: чем больше правды вмещается в данную жизнь, тем менее она безмятежна. Пророков побивают камнями; поэтов теснят со всех сторон; но кто больше достоин жалости – они или те, кого не били камнями и никогда не притесняли?

V

\*\*\*

Вера не обеспечивает спокойствия, как это принято представлять. Верующий чувствует себя под защитой и покровительством, и в то же время знает, что это покровительство не может, не должно помешать ему погибнуть, потому что поражение и гибель входят в естественный порядок вещей, из которого никто не изъят. Вера в непобедимость, неуязвимость, неподверженность неудаче была бы внерелигиозна, безнравственна. Она свойственна безумцам, одержимым, всяческим ослепленным и в конечном счете *живущим вне веры*, как раз потому, что те веруют не в Бога, а в себя и свою исключительную судьбу. Однако мир не создан на благо того или иного человека; в такой вере нет кротости, только исключительное себялюбие; она уже не вера, а только более или менее длительный самообман. Христос не так верил: Он проповедовал благую весть и знал, к чему приближает сия проповедь.

\*\*\*

– Неужели вы не видите, что религия подавляет человека?

– Да, религиозность есть жестокое и непрерывное покорение себя. Можно отказаться от него и вложить жизненные силы в покорение других, но внешние приобретения дают душе ничтожно мало. Именно постоянная внутренняя неуверенность заставляет завоевателя испытывать судьбу. Люди внешнего дела, покорители чужих душ, вечно в противоречии с заповедью не искушать Господа. Как маловерующие, они непрерывно Его искушают. Конец их известен.

– Так что же: вы проповедуете вериги, посты?

– Должен заметить, что я вообще не проповедую. Я не выдам тайны, если скажу, что ищу спасения, но не готовых к употреблению истин. Увидев во мне искателя святости, вы бы также ошиблись, потому что мне хорошо известна общность источника страстей и молитв. Не скажу большего...

\*\*\*

Положение верующего таково: он знает, что жизнь имеет смысл, но не знает точно, какой. Вера состоит не в следовании определенным правилам, но в познании смысла жизни, причем не «жизни вообще», но именно данной жизни, с ее угрозами и влечениями. При всяком случае верующий занимает положение деятеля и оценщика. Как деятель, он определяет свою будущность; как оценщик, он определяет значение своего выбора. Излишне говорить, что при таком отношении к своей жизни очень немного в ней выглядит случайным и недостойным внимания. Жизнь верующего состоит в разговоре с его судьбой, то есть с Богом.

\*\*\*

Религиозное ощущение можно выразить словами: «я один – и в то же время не один, но с таинственной силой, которая помогает мне в хорошем и мешает в дурном». Все упорядоченные религии только наслаиваются на это положение, на двойное чувство одиночества-неодиночества, оставленности, заброшенности в мире – и невидимого сопутствия. Присутствуй в жизни только одно из этих начал, чувство покинутости или чувство присутствия, в ней не было бы места религии; но только чему-то меньшему или большему, чем религия.

\*\*\*

Верующий говорит себе:

– Бог ставит тебя в трудные положения, постыдные положения, не имеющие выхода положения – для того, чтобы ты потрудился, испытал стыд и нашел выход. Не значит ли это, что Он, несмотря ни на что, всё-таки тебя высоко ценит?

\*\*\*

Религия – не то же, что «правила жизни», и где есть «правила жизни», там не обязательно присутствует религия. Я боюсь даже, что положительное определение религии вовсе невозможно, как и положительное определение истины. Во всяком случае, правила жизни придумываются людьми и для людей. Они совершенно «посюсторонни» и на внутреннюю жизнь души – в той степени, в которой внутренняя жизнь души есть преддверие *иной жизни*, – не распространяются. Религия же *не здесь* или не вполне здесь и ее первая отличительная черта в том, что она не признаёт видимый мир единственной и окончательной действительностью.

## VI

\*\*\*

В детстве мы находим в своей душе гораздо больше мыслей и представлений, чем следовало бы, – при допущении, что источником этих представлений был только личный опыт. Какой личный опыт ребенка до пяти лет? Психологии следовало бы начинать свою охоту за человеческой душой оттуда, из темноты ранней жизни; но психология в этой темноте предпочитает не видеть, в самом лучшем случае говорит о «подражании старшим» и закрывает глаза на присутствие уже в малом ребенке *сложившейся личности*. Она, правда, заперта за темной стеной; ей трудно о себе рассказать; она созерцает, но совсем не действует, ее чуть ли не единственное дело – научиться говорить с людьми и управлять телом... но она есть. Выйдя из своего темного сада к людям, душа

знает больше, чем она могла узнать из всех колыбельных песен нашего света. Нередко ее заставляют всё знание свое забыть; нередко пробудившуюся душевную жизнь гасят, – и это называется взрослением! – но всё же в своем темном, печальном и добром саду душа знала что-то такое, чего из других источников не узнать. Всё *самое главное* износится душой из этого сада. За его пределами не будет уже познания, но только припоминание виденных и слышанных прежде дивных вещей, как и говорил нам Платон... И Нагорную проповедь, как и всё прекрасное и правдивое, мы слышали в этом саду, где ночь уютна, мир добр и ласковы звери.

\*\*\*

Смысл происходящего открывается только впоследствии; отсюда обыкновенно делают вывод, будто сего смысла нет вовсе. Однако вопрос можно поставить и иначе: наши познание и мышление ограничены направлением *от прошлого к будущему*, поэтому всякий *будущий смысл* кажется нам несообразностью, как нечто несуществующее. Будь предвидение (то есть чувство присутствия будущего в настоящем) более распространенной человеческой способностью, мысль *о будущем смысле* не казалась бы такой нелепой.

\*\*\*

Одни вещи не имеют смысла, другие не имеют объяснения, и мы их нередко смешиваем. Однако смысл есть совсем не то же, что объяснение; он в самом лучшем случае *раскрывается* в объяснении, но живет – если так можно сказать – отдельно... Искать смысл совсем не то, что «разумно объяснять». Объяснение только стремится к смыслу, но еще не сам смысл; оно преходяще – до тех пор, пока не совпадает со смыслом. Задача разума не в том, чтобы дать вещам объяснения, а в том, чтобы найти в них смысл.

\*\*\*

Те стремления хороши, цели которых недостижимы: они не обманут стремящегося. Духовная жизнь человечества состоит в преследовании недостижимых целей; только эпохи упадка отмечаются стремлением к вещам, коих можно достичь. Философ не может отказаться от *крайних, последних*, но не имеющих окончательного разрешения вопросов ради вопросов второстепенных, но могущих быть разрешенными. Разрешимая задача не имеет для него ценности, потому что и без его усилий она может быть разрешена. Браться следует только за те вопросы, в основание для разрешения которых (не в самое разрешение, и возможно ли оно!) можно вложить собственную неповторимость, собственную личность. Здесь действует правило, найденное Достоевским: без тебя, именно *без тебя* истина, в которую ты веришь, не может! В области поиска истин следует быть однолюбом и отдавать всего себя.

\*\*\*

Ницше свирепо нападает на христианство, но иногда забывает придать лицу свирепое выражение, тогда становится видно, что борьба этого мыслителя была прежде всего с самим собой, не против Бога. Его принято считать поджигателем храмов, но, в сущности, он учил об одном: что всё, что делается *с Богом*, то есть со всей полнотой духа, будет *добро зело*, что бы ни говорила по этому поводу дряблая мораль. В Ницше увидели проповедника безнравственности и врага религии, тогда как он проповедовал внутреннюю духовную полноту, к которой только и стремится любая религия.

\*\*\*

Ницше должен быть оправдан и осужден одновременно. Так бывает со многими еретиками. Их учения нужно осудить, чтобы их мнения оправдались. Учение, «система» есть вообще самое слабое звено умственного творчества. *Системы имеют обыкновение оказываться ложными*. Мыслям становится тесно в созданном для них учении, умственная постройка рушится, а мысли спасаются из-под обломков, чтобы перейти материалом в следующую постройку: таково отношение мыслей и учений.

\*\*\*

Либо красота существует для нас, и мы – для красоты, либо красота случайна, и мы ни для чего. В мире, как мы его постигаем, там и тут зияют разрывы: либо всё осмысленно и целюно, но требует усилия от понимающего, либо всё неверно и произвольно – и единства нет, тогда нет и места красоте, правде и душевному миру. Наука выступает на стороне последнего мнения, и в то же время признаёт в мире хорошо устроенный порядок, стройный замысел, – но только во всем, что не касается человека и его упований. Противоречие веры и науки не в том, что одна ищет единства, а другая его отвергает, но в том, что наука ценит человека невысоко, видит в нем какое-то случайное исключение, которое и изымает из общего единства, говоря: «мир упорядочен, но человек в нем случаен».

\*\*\*

Был человек – Ницше, – который много доброго сказал о силе и сильных, но он не заметил одного: сильный может прожить и без правды, сильный в правде не нуждается, тогда как слабый укрепляется и подпирается одной правдой и без нее жив не будет. Сила дает человеку *независимую от нравственности (то есть от правды) опору*; и еще хуже, что свою силу он склонен считать *своей правдой*. Положение сильных весьма небезопасно, не потому, что им «высоко падать», а потому, что они строят на шатком основании собственной силы.

Можно сказать, что под «силой» ее проповедники подразумевают *дерзновение*, нежелание мириться с мнениями, то есть предрассудками, большинства. Дерзновение – уже понятие духовной жизни; оно либо имеет нравственные, духовные корни, либо является простой наглостью, о которой и говорить не стоит... Однако дерзновение – качество бойца; оно всегда на стороне всё тех же *слабых и восстающих*; к чему дерзновение тому, кто уже господствует? Получается, что понимание «силы» как дерзновения возвращает Ницше к осуждаемой им на словах христианской морали слабых. Сильный угнетает, слабый дерзает. И Ницше был среди слабых...

\*\*\*

В способности находить во всем гадкое нередко видят пронизательность и «верность жизненной правде». *Правда*, таким образом, определяется как то, что стыдно сказать. Но что, если правда не такова?

\*\*\*

Неверными объяснениями причин поступков уничтожаются сами поступки. Объяснение высших душевных явлений через низшие побуждения прекращает сами эти явления. Кто будет благороден, если благородство – только хорошо скрытая гордость? Кто будет щедр, если щедрость – только покров стяжательства? Проще уж быть *откровенно* гордыми и себялюбивыми... Ложные объяснения человеческой природы опасны тем, что со временем развращают объясняемого. Его поведение искажается настолько, что наконец начинает соответствовать своему объяснению; вообще поведение человека и общества чаще всего соответствует господствующему мировоззрению, то есть способу объяснения вещей. Иначе говоря, объяснения человека и общества получают в определенных обстоятельствах принуждающую силу; я бы сказал – чем они проще, тем большую; так что следует быть весьма осторожным, предлагая новое всеобъемлющее решение загадки человека. Несложно растлить общество, предложив ему ложный взгляд на себя.

\*\*\*

Постепенное культурное развитие, при котором детям непонятны вкусы отцов, естественно; но только до тех пор, пока дети *остаются на почве культуры*. Если же каждое следующее поколение всё более тонет в море случайных мыслей и настроений, его вкусы перестают быть культурным явлением, становясь всё более *нравами и обычаями дикарей*. Культурные явления могут насмерть враждовать между собой, но при этом они не случайны. *Сила в области культуры есть мера значения*. Можно противопоставлять Льва Толстого – Достоевскому, но не потому, что один из них «нравится» судящему больше, чем другой. Вера в творящую силу потребления, то есть в конечном счете в *достоинство судящего невежества*, которое всё оценивает, ничего не

зная, – господствующее заблуждение демократических эпох – еще хуже для культуры, чем прямая тирания, поскольку тирания, как власть немногих, вызывает естественное противодействие, которого *всенародное невежество*, голос которого полагают голосом большинства, то есть истиной, не встречает. Но правда не то же, что мнение большинства голосов, и история человечества как нельзя лучше подтверждает это. «This was sometime a paradox, but now the time gives it proof»<sup>1</sup>.

\*\*\*

– Мне нравится этот автор.

– Это значит, что вы недостаточно в него вчитались. В области важнейших душевных вопросов (такова область подлинно философского) не может быть вкуса, которому нравятся или не нравятся предлагаемые ответы. Ответы в философии имеют характер *истин*, причем *личных истин*, т. е. таких, которые даются путем личного опыта и вне его пределов часто бывают неясны и труднодоказуемы.

– Но что делать, если мне в самом деле нравится этот писатель; более того – я с ним вполне согласен?

– Тем хуже. Когда речь идет о жизни души, ничто не может быть принято на веру. Можно согласиться с *истолкованием* некоторого опыта, и только, но для этого необходим свой собственный опыт в той же области. «Никогда и ни с чем не соглашаться, но всё испытывать» – может быть правилом не только для философа, но и для его читателя.

\*\*\*

Мысль о том, что может быть *две правды*, для ума непереносима. Он предпочитает остаться совсем без правды, чем с двумя равными истинами. Познающий небеспристрастен: он ищет правду, которой можно было бы поклониться, и от свободного выбора между предметами поклонения, даже просто между разными объяснениями природы вещей – бежит. Привязанности либо исключительны, либо не существуют; любовь к истине, не смотря на свой будто бы исключительно умственный характер, тоже одна из привязанностей; она ищет не просто своего предмета, но *единственного* предмета.

\*\*\*

Самоутешение может быть частью философии, уступкой слабости мыслителя, но не главным ее содержанием. Философия занимается не «должным», но существующим. Ее задача в поиске тонких закономерностей бытия, не в наказании грешных и утешении обиженных. Философ не имеет права *придумывать*, он может только видеть и толковать увиденное. Я полагаю даже, что утешение – задача воспитания, а не умственного труда в каком-либо виде; религия не составляет исключения. Когда Христос говорил: «блаженны плачущие», он имел в виду внутреннюю достоверность, психологический и религиозный факт, а не «утешение обиженных». «Утешать» значит «лгать». Христос приходил не для лжи и утешениями, вопреки распространенному взгляду, не занимался.

\*\*\*

Говорить – малоценное искусство, прекрасное только тем, что знакомит нас с искусством жить и испытывать счастье. Подозревает ли писатель, выходя на свою дорогу, что достигнет однажды состояния, когда хорошее о себе перестает радовать, а в плохое не верится, потому что знаешь о себе гораздо больше хорошего и дурного, чем кто-либо посторонний? Вес одобрения, вообще ценность стороннего мнения страшно преувеличивается людьми, которые берутся судить об этом вопросе. «Вы написали хорошую книгу», говорят писателю. Но он знал об этом в те самые минуты, когда писал ее; что он может услышать нового? «Неотвратимые внутренние вопросы», о которых говорил Гоголь, не отменяются ничьим одобрением. Есть, однако, еще счастье признания; но тому, кто давно уже *признал себя*, оно бесполезно. Тому, кто занят бесконечным разговором со своей душой, все остальные разговоры кажутся ничтожными.

---

<sup>1</sup> Некогда это было парадоксом, но наш век это доказывает.

\*\*\*

Ни во что не верить – то же самое, что ничего не любить. Если неверием венчается человеческое развитие, надо сказать, что венчается оно жестокостью и себялюбием – двумя обычными проявлениями недостатка любви, направленной вовне. Атеизм предполагает: либо всякий человеческий поступок, включая самый ничтожный и гадкий, правдив и прекрасен; либо правды и красоты нет вовсе, тогда и заботиться не о чем. Единственное веское против него возражение состоит в том, что понятия правды и красоты человеку прирождены, то есть не зависят от его ума и воображения; следовательно, *борьба против правды и красоты есть борьба против природы человека*; в конечном счете: борьба против Бога есть уничтожение человека.

\*\*\*

Наука пытается создать цельное мировоззрение, имеющее опору только в себе самом. В этом она наследует религии и потому с ней враждует. Дело вовсе не в том, что наука «права», а религия «ложна», но в том, что наука не терпит соперниц в деле *исключительного объяснения мира из одного корня*. Наука не верует в Бога, т. е. не признаёт Его существования, но она не верует и в человека, враждебна человеку, потому что ее цели и святыни не имеют ничего общего с целями и святынями человека. До сих пор не нарушенное обаяние науки объясняется не ее соответствием человеческим чаяниям, но умелой игрой на человеческих слабостях. Как ни относиться к Апокалипсису, в нем содержится важная мысль, замеченная Достоевским: «слава зверю сему – он сводит нам огонь с небеси!» Человечество готово к этому восклицанию, готово к поклонению силе без правды. Наука оказалась такой силой. Глупых она делает богатыми, трусов сильными, как ей не поклониться? Первой своей заповедью она называет «любовь к истине», однако мир предпочитает не замечать, что это *любовь к истине без правды*, точность без верности, стремление без любви. *Наука не признаёт человека*, поэтому не понимает, что велик не тот, кто накормит голодного, а тот, кто утешит слабого; улучшение качества жизни, начиная с определенной ступени, не имеет ничего общего с ее нравственным возвышением.

\*\*\*

– Мироздание устроено так же, как наше общество: всюду слепая борьба за жизнь без Божества и правды.

– Напротив: не природа подобна современному обществу, но наши взгляды на природу отражают устройство нашего общества. Пока это общество признавало не одну только силу, ему видны были и Божество, и правда, и красота в мире. Учение Дарвина, как многое другое в наших взглядах на природу, имеет местное и временное значение. В нем современность находит себе *оправдание*; думая смотреть в окно, мы смотримся в зеркало. Философия часто служит средством самооправдания; наше не склонное к отвлеченному мышлению время для той же цели воспользовалось наукой. Торжество науки не было бы столь основательным, если бы она противоречила духу своего времени в области *целей и выводов*, что отнюдь не является невозможным, так как цели и выводы науки определяются человеком: опытные данные только дают для них материал. *Общества выбирают то объяснение мира, которое соответствует их природе, но прямой связи с действительным устройством мироздания этот выбор не имеет.*

– Сие не ново. Уже Ницше провозгласил относительность всякого познания, но вышло ли из этого что-нибудь доброе?

– Мало провозгласить *относительность познания*, надо еще научиться жить с таким знанием. Если едва ли не все виды знания о вещах привременны и зависят от человека и места, какая твердая почва остается душе? Только почва веры, т. е. убежденности в том, что самое легкое, самое призрачное в человеке – его мечты – вырастает из самой твердой основы; что именно то, чего мы страстно желаем, чего не достигаем, из-за чего боремся – есть важнейшее в мире, важнее познания, богатства и власти. Человек, который разуверился в познании, может искать опоры только в шекспировском *материале снов*. «Мы созданы из той же основы, что и сны», т. е. наши мечты.

\*\*\*

Либо человек укоренен в мироздании и человеческие добро и зло имеют опору в мировом порядке, либо корня нет, основы нет, всё в равной мере доступно и всё возможно. В этом случае

человеческое общество основывается на призраке, паутине; человеческая личность имеет опору только в самой себе; продолжение мировой истории бесполезно, потому что ее начало было бессмысленно. Таковы последние выводы из проповеди нигилизма; однако нигилисты их не боятся, полагая, что общество, о разрушении основ которого они пекутся, всё же как-нибудь там сохранится и позволит им продолжить безбедное существование. Однако в новом мире, который готовят эти мечтатели, не будет места для них, как и для самой мечты; она будет оставлена на пороге, как и всё человеческое.

Либо человек укоренен в мироздании, и мироздание радуется в человеке, либо дела его призрачны и жизнь основана на паутинке. Принимая одно из этих положений, мы принимаем жизнь или разрушение; среднего между ними нет. Переходное состояние современного общества, в котором видят прообраз наступающей счастливой эпохи, есть только мостик между старым миром и новым; между *миром невидимых ценностей* и миром их отсутствия. Жизнь в этом переходном обществе потому еще возможна, что нас охраняют не вполне забытые прежние ценности, и потому так приятна для некоторых, что постоянно, своим ходом отрицает эти ценности, давая живущим чувствовать себя нарушителями запретов. Но сладость и острота времени разрушения святых недолговечна. Разрушающий храмы чувствует себя богоборцем, но уже его сын или внук будет чувствовать себя только тем, что он есть, то есть бедняком на развалинах.

\*\*\*

– Что есть философия?

– Философия – область невозможного и неповторимого, того, что случается однажды и воспроизведению не поддается. Происхождение мира и жизнь духа подлежат только философскому изучению; в них нет пищи для науки. Ни гений, ни мироздание не поддаются научному исследованию, т. к. там, где нет повторения, науке не к чему приложить свои орудия, ее область – область повторения и опыта. «Научная философия», в которой потеряны лучшие черты как философии, так и науки, может стать только некоторым заменителем религии, то есть сводом догматов, существующих исключительно ради поддержания собственного существования; в ней возможны догматические споры, но не поиск истины.

\*\*\*

Входящим в мир высших духовных ценностей следует говорить: «Остерегайтесь подделок!» Все высшие ценности поддаются подмене и замещению; даже так: в каждой следующей ступени духовного роста скрыта возможность падения и возврата. Патриотизм вырождается в поклонение государственной мощи; религия становится исканием чуда; наука ради власти над природой отказывается от ее познания. Все эти виды порчи высших ценностей сводятся к подмене качественного превосходства количественным. Мощь, чудо и власть – разные имена одного и того же кумира. Главная борьба в области духа идет именно с этим кумиром; христианам он известен под именем дьявола.

\*\*\*

По отношению к христианству и всем великим ценностям Запада мы должны быть рыцарями-хранителями идеи, в полном понимании того, что историческая почва для применения этих идей уничтожена переворотами последних времен и едва ли скоро восстановится, если восстановится вообще. Защищать в эти дни Бога и свободу – значит идти против сильного и всё крепнущего течения. На знаменах его, как ни странно, тоже требование «свободы», безграничной свободы. Однако кто исходит из бесконечной свободы, тот всегда заключает безграничным деспотизмом. Достоевский прав. Человечество отказалось по своей воле от великой идеи *ограниченной свободы*, умной свободы, свободы, имеющей цели, и теперь гонится за призраком «полностью освобожденной» от целей и ценностей личности, которая «свободна до того, что уже и не знает, к чему себя приложить, и находит исход своему томлению в убийстве или самоубийстве... Из опыта новейшего времени мы узнали, что и свобода имеет своих рабов.

\*\*\*

Мыслитель – человек, который ходит над пропастью и рассказывает о том, что он увидел. Положение его восхитительно и опасно. За дальность взгляда он платит постоянным страхом падения. Если некто находит свои мысли в безопасных и общедоступных местах, он не мыслитель, но в лучшем случае ученик.

\*\*\*

В мире безусловной веры возможна осанна, но не философия. Философия предполагает испытание мира мыслью; некоторое изначальное сомнение. Перед лицом Бога не философствуют, но верят, надеются и живут. Философия, как и псалмы Давида, есть плод некоторого затруднения; разрыва между фактами и их пониманием; философия, как отмечал Лев Шестов, посетила Иова не тогда, когда он узнал о своих первых бедах, но когда он был уже раздавлен непосредственным, личным несчастьем, отделившим его от человечества. Мыслитель непременно *отделён*; он не понял чего-то, и потому уединился, или уединился потому, что его не удовлетворило общераспространенное понимание. Так или иначе, но он уединился и из своего уединения судит и пересуживает вещи, к которым с некоторых пор пошатнулось его доверие, и для этого доверия он теперь ищет новое основание. Философ, однако, – тот, кто именно *усомнился*, а не отчаялся. Сомнение имеет тот же смысл, что и шаг, то есть перенос тяжести тела с одной точки опоры на другую. Сомневаются не только *в чем-то*, но непременно *ради чего-то*. На умственное развитие можно смотреть и как на последовательность сменяющих друг друга сомнений, разрываемых временами твердого убеждения. Если твердые мнения суть точки на прямой познания, то сомнения – соединяющие их отрезки. Взгляд на развитие как на череду сомнений избавляет от обожествления частных истин, преходящих твердых мнений; что толку в поклонении той или иной точке зрения, если она только ступень к следующему сомнению? – Так сказал бы парадоксалист, каким в определенной степени и должен быть мыслитель.

\*\*\*

Приветствуется ум, «докапывающийся до самого корня вещей», но только в той степени, в какой он поверхностен. Такой ум бодро разрешает мировые вопросы – и принимает поздравления; он не знает, какие чудовища живут там, где корни вещей, и как изранены будут совесть и ум познающего, который осмелится спуститься к этим корням. По закону, указанному Христом, ищущий находит. Тот, кто ищет «простых и понятных истин», также их обретает; но к познанию сути вещей, настоятельно требующему самоотдачи и самосжигания, не приближается. Мыслить о корнях вещей значит не жалеть себя и своего спокойствия; чем дальше мы находимся от спокойствия, тем больше приближаемся к корням вещей.

\*\*\*

В основе магии и науки – стремление к силе, желание власти над миром. Им обеим противостоит христианство с его верой в неподдающегося воздействию, свободного Бога, Которым нельзя управлять при помощи заклинаний или технических приемов. Христианин свободнее человека магии или науки, потому что он не желает никого поработить. Маг хочет подчинить себе Божество; ученый – природу; только христианин смотрит на мир без вожделения и знает, что дается нам, если дается, только *свободно и даром*. Что получено силой, то бесполезно для получившего. Только отказ от принуждения по отношению к миру и Богу дает внутреннюю свободу.

\*\*\*

Культура – произведения праздного, т. е. поднявшегося над заботами, человеческого ума, в которых он осознаёт свою связь с прошлым, и которые он оставляет для будущего. Всё создается для того, чтобы стать чьим-то прошлым; культура, как ни странно, есть *создание великого прошлого*; иначе дело обстоит только в стране без истории, где нет «вчера», но только вечное «сегодня», или же при конце времен. Культура длится, или ее нет; ее отличает от варварства именно протяженность.

\*\*\*

Современная психология говорит: «важны не вещи, а наше отношение к ним», и в иных случаях добивается многих успехов. Но, говоря так, она вносит в жизнь дурную относительность и отсутствие твердой почвы, столь необходимой душе. Перемена отношения к неизменным вещам хороша против мелких неприятностей. Однако жизнь в целом, видимая с такой точки зрения, теряет всякий внутренний смысл. Сказать, что смысл вещей в том, что мы о них думаем, – то же самое, что сказать, будто вещи не имеют смысла вовсе. Либо мы познаём нечто заложенное в вещах изначально и от нас не зависящее, либо только изучаем собственное мышление, думая, что узнаём нечто о вещах. Во втором случае никакого знания просто не может быть, кроме знания о человеке. Я думаю, однако, что в действительности познание идет по среднему пути: познавая вещи, мы изучаем себя, и наоборот, потому что между познающими и познаваемым существует внутреннее родство, общность происхождения, которая и делает возможным миропонимание.

\*\*\*

Употребление слова «свобода» оправданно, пока речь идет об утверждении положительных ценностей. Без понятий добра и истины нет понятия о свободе. Кто печется об упразднении истины, выходит из-под защиты свободы; пусть он не огорчается непониманием и преследованиями. Свобода есть условие достижения целей, но сама не цель. Памятником слепому стремлению к ней, пожирающему наше время, может быть безликий, с обрубленными крылами идол, попирающий ногой *раздавленного непосильной свободой* человека. Вне области духа нет свободы. Там можно говорить только о безразличии, о следовании или, еще хуже, о порабощении стихиям мира. Власть без правды – насилие, свобода без правды – блуд. В последние столетия мы слишком много спорим о свободе, а следовало бы – о правде: *ради какой правды вы требуете себе свободы?* Современному человечеству нечего ответить на этот вопрос.

\*\*\*

Есть вещи, которые можно *изучать*, и такие, каким можно только *научиться*. Изучают всегда нечто внешнее, враждебное; учатся через внутренний опыт и *приведение души в согласие с познаваемым*. Научаясь, душа принимает; изучая, – берет. Изучать можно и то, во что не веришь; учиться – только тому, в ценности чего убежден. В иные времена учатся; в иные времена изучают. Мы живем в эпоху, склонную к изучению, – не удивительно, что она ничему не хочет учиться.

\*\*\*

Мудрость – умение по частям угадывать целое, по следам восстанавливать пробежавшую истину, коротко говоря – искусство познавать целое по его части. Там, где целое уже дано, нет места угадыванию, следовательно, и мудрости, там будет хорош и простец. В мудрости человек нуждается, пока у него закрыты глаза; она ни к чему тем, кто видит ясно. К счастью для мудрецов, слишком многое в мире скрыто от взора, а потому поддается только угадыванию; даже написанное слово не столько сообщает, сколько скрывает мысли, и тем дает почву филологии, как «искусству медленного чтения» (Ницше).

\*\*\*

Как делаются философами? Однажды душа начинает спрашивать, и счастливы те, с кем этого не случилось: они смогут прожить жизнь в безверии или вере, и в любом случае будут счастливы, но душа, которая научилась задавать вопросы, уже не будет спокойна. Однако философия – нечто большее, чем умение во всем сомневаться, в котором обычно видят признак сильного ума. Положительные суждения вызывают мысль о слабости судящего: по-настоящему легкий успех дается только отрицанием, и как можно более громким. Правда меньше занимает общество, чем новизна, поэтому ниспровергатели всегда имеют успех. Усомнившись, человек как бы поднимается над подвергнутой сомнению ценностью; этим и живет искуситель: он поднимает мнение человека о себе самом, поощряя его к суждениям о превосходящих его истинах. Смысл сего искушения в том, что истина и человек меняются местами: истина оказывается снизу, а человек – в новом качестве судьи и оценщика – сверху. Бестрепетно он осуждает старые истины и устанавливает новые, забывая о том, что *право называться истиной* всякое мнение приобретает только пройдя через страдания. Свежеиспеченные истины, полученные путем всеохватывающего

сомнения, не имеют этого свойства: они не испытаны и не оправданы ничем, кроме прихоти судящего. Сомневаться, т. е. философствовать, необходимо, но за достигнутые путем сомнения истины нужно еще и страдать, иначе они пополнят только собрание человеческих заблуждений. Чувство *общей осмысленности*, которое нас иногда посещает, достаточно сильно для того, чтобы вызвать веру, но недостаточно ясно, чтобы дать ответ на все вопросы души. И этим путем также приходит на свет философия: когда есть достаточно острый слух, чтобы слышать слаженный хор мировых голосов, но недостаточно зрения, чтобы увидеть их источник. Корни философии в сумерках, до рассвета.

\*\*\*

В области духа, кроме добра и зла, есть еще область *пустоты*; сама по себе она не добро и не зло, но только почва для праздности и растления. Праздный дух ищет себе заполнения и выбирает доступнейшее; так засеиваются обширные пустоши праздных душ, и выросшие плевелы впоследствии объявляются «культурой масс» и «новым словом в истории духа»... Что дурного в невинных сорняках, в простых желаниях «есть, пить и веселиться»? В них плохо то, что эти невинные сорняки вырастают до неба, заслоняют небо и дают тем, кто в них заблудился, повод утверждать, будто никакого неба и нет. Радоваться не безнравственно, но после некоторого предела каждая новая *радость для себя* означает *огорчение для других*, т. е. радость делается-таки безнравственной; и есть еще следующий предел, за которым поиски радости начинают вредить ищущей радости душе, и если до сих пор чужая боль была для нее неслышна, теперь она познакомится с болью сама. Поиск радости иссушает источник радостей, одновременно поощряя жажду. Крайняя точка на этом пути – бесконечно жаждущий у иссохшего русла.

\*\*\*

Понятия «мыслитель» и «философ», некогда однородные, разделились ныне почти до полной противоположности. Мыслителем был Христос; но кто же решится назвать Его философом? Мыслитель тот, кто ищет закона и объяснения *своей*, прежде всего *своей* жизни; философ играет безразличными понятиями, которые не грозят и не обещают его душе. Будущность философа никак не связана с будущностью его философии, ибо эта философия до того *безлична*, что и не может иметь никакого действия *на лица*; в лучшем случае ее можно изучить, но никак нельзя ей следовать, тогда как настоящей философии если и учатся, то затем, чтобы следовать ей.

\*\*\*

Наше время не знает *великих* людей, но только людей, имеющих успех. Величие как будто потеряло под собой почву с тех пор, как для дел и вещей не стало другой меры, кроме успеха. Великим можно быть только относительно другого великого: веры, познания, отваги; когда мерой оценки делается успех, место великих занимают сильные и удачливые, причем не те сильные и удачливые, которые некогда искали успеха у Судьбы, борясь с преградами и опасностями, но те, которые за успехом обращаются к общему мнению, – как будто оно может одобрить что-нибудь, кроме доступного и простого. Область духа – не бесконечная общедоступная низменность: то, что делается в ее долинах, имеет ценность только в виду ее вершин. Уберите из виду вершины духа, и вы обесмыслите повседневность.

\*\*\*

«Сильные умы» считают человека случайным явлением во вселенной; «слабые умы» видят в ней же общий замысел, в котором и человек занимает свое место. Таков общепринятый взгляд, как его выразил Ницше. Однако внутри него скрыто недоразумение: «слабые умы» оказываются способнее к обобщениям и видят порядок там, где для свободомыслящих только случайность; нет ли тут ошибки? Сила ума, иначе говоря, связывается с его способностью пренебрежительно относиться к человеку; свободомыслие испокон века состоит в том, чтобы видеть в человеке только подверженное гибели животное и лучше всего выражается словами старшего Карамазова: «Умру – лопух вырастет!» Тут мы встречаем препятствие. Если Карамазов-старший – это именно и есть «сильный ум», вершина умственного развития, то – поскольку мы люди, мы должны признать это, – то всё это развитие гроша ломаного не стоит, и лучше б его и не было. Простая *вера в человека* не позволяет так думать; или, избегая пугающего слова «вера», – нам мешает так думать

уважение к человеку. Таким образом, *отношение к человеку оказывается камнем, на котором держится всё мировоззрение, весь взгляд на мировой порядок*. А так как взгляд на человека основывается в каждом из нас прежде всего на самопознании, то – позволю себе сделать вывод – говорить следует не о борьбе «слабых» и «сильных» умов, но о противостоянии умов, приверженных самопознанию, и умов, которые от самопознания отказались.

\*\*\*

На духовный рост можно смотреть как на расширение области действия стыда. Детям и дикарям почти нечего стыдиться; чем выше внутреннее развитие, тем больше поводов для стыда оно дает человеку. Если общество отвергает стыд, оно стоит на пути к первобытному состоянию, каковы бы ни были его технические успехи. Однако отказаться от стыда вполне не может ни одно общество: в качестве скреп ему необходимы хотя бы некоторые *служебные добродетели*, без которых государство становится притоном разбойников... К счастью, стыд дольше сохраняет свое значение для личности, чем для общества, поэтому даже весьма растленные общества могут продолжать существование, опираясь на презираемые ими чувства одиночек. Бесстыдство как господствующая идея даже предполагает, что кроме избранных бесстыдников останутся массы, приверженные устаревшим добродетелям.

\*\*\*

В области мысли мы находимся в положении позднейших последователей Платона. В разреженной религиозной атмосфере мы можем строить свое здание из самого чистого, самого хрупкого материала. Мир религиозных представлений прошедшей эпохи расстилается под нами, как море, – или, скорее, как вечерняя земля, видимая сверху; мы охватываем его одним полетом глаз, что было недоступно нашим предкам, смотревшим на тот же мир изнутри. Мы не можем удержать этот мир от погружения в вечернюю зарю и то, что за ней, но можем дать его последнее, вернейшее и очищенное изображение. Мы вечерняя стража у ворот христианского мира – до следующего восхода.

\*\*\*

Внешние причины – когда речь идет о творчестве – ничего не объясняют и только служат прикрытием внутренних, душевных причин. Если философские взгляды выводятся из болезней или несчастий мыслителя, то вопрос «почему?» не исчезает, но только меняет звучание: «почему эта болезнь, это несчастье привели *именно* к этим мыслям?» В сущности, такие объяснения только переносят ответственность с мало кем в наше время признаваемой души – на внешние обстоятельства. «У него была болезнь глаз, и потому он писал мало и кратко». Болезнь глаз не определяет еще содержания, неотделимого от формы, которую оно себе выбрало. Болезни – или любому внешнему обстоятельству – приписывается *способность мыслить*. Обстоятельства могут заставить душу мыслить, это правда, но не определяют содержания ее мыслей. Иначе те или иные болезни или несчастья можно было бы рекомендовать всем, желающим стать философами или поэтами: для каждого направления мысли – свою болезнь...

\*\*\*

Один из пороков т. н. «научной психологии» в том, что всё высшее, как правило, остается за пределами опытного познания. Мир уже полон разгадывателей человеческой души, которые будто бы познали ее до конца и вполне могут ей управлять. Найдя несколько струнок, на которых ищущий власти над душами может безошибочно играть, они не заметили в душе духа. Высшее осталось за пределами познания, да и не могло быть познано: опытное познание гения, религиозности, вдохновения и любви невозможно. А так как всё, что не может быть ей исследовано, наука признаёт несуществующим, то *несуществующим* теперь она признала человека. В сущности, против самого понятия *человека* идет такая же борьба, какую материализм уже давно вел против понятия Бога. Что не может быть познано, то не существует, или даже так: «чего я не понимаю, того нет»; это правило неизбежно требует войны против Бога, затем против человека, затем против всей духовной культуры, как всецело основанной на «том, чего нет» – на духовных ценностях и высших понятиях, не вытекающих из нужд питания и продолжения рода.

«Психология» объясняет человека, чтобы его упразднить, в точности как история религии, которая изучает христианство только с той целью, чтобы в конце объявить Христа никогда не жившим.

\*\*\*

В философии и религии ищут не «утешения», а освобождения. Чем тяжелее эпоха, чем менее свободным себя чувствует человек, тем больше он нуждается в обеих. Говоря о свободе, я имею в виду внутреннюю свободу. Внешне и политически человек может быть сколь угодно свободен, и притом чувствовать себя неблагополучно. «Познаёте истину, и истина освободит вас», говорит о своей задаче христианство, рожденное в такое же время внутреннего неблагополучия, как наше. Нас теснят отовсюду: в мире, созданном трудами человеческих поколений, человеку не остается места. Все ищут над ним власти и находят всё более совершенные способы эту власть захватить и удержать. Пусть нас не обманывает незыблемая пока личная свобода: пленив душу, нет необходимости поработать тело, а о пленении души-то и печется наш век.

\*\*\*

В наше время философская годность определяется силой беспокойства, которое испытывает мыслитель. Никакая «древняя мудрость» нас больше не защищает; старые истины не помогают и не спасают; здание, построенное нашими предками, больше не дает нам укрытия. Прежде можно было прославлять «беспочвенность», стоя на почве европейского культурного мира; теперь мы по-настоящему, в самом деле беспочвенны: почва ушла из-под наших ног *вместе с культурным миром*. Противопоставление «культуры» и «прогресса» прежде было парадоксом, а теперь решительный факт. Культура и прогресс разошлись, и кто хочет быть с культурой, для того нет радости в техническом развитии, и кто с «прогрессом», для того культура представляет собой отживший хлам. Любить разом «культуру» и «прогресс», иначе говоря, любить одновременно человека и его технику – больше невозможно. Душевная жизнь и культура ретроградны в обществе, в которое мы поставлены. Говорить о таких вещах значит в существующем обществе *звать назад*, против направления, в каком радостно движется большинство, с которого наконец-то снята повинность душевной жизни, тяжесть совести и ее вопросов, иго личной ответственности – весь строй понятий христианского тысячелетия.

\*\*\*

Тот или иной отрезок истории проходит не потому, что его упразднил «неизбежный прогресс», но потому, что он не справился со своими задачами. Прошлое может быть осуждено лишь постольку, поскольку, поставив себе задачи, оно не смогло их разрешить. Упразднены могут быть не задачи, но способы их решения. Основное заблуждение судящих об истории в том, что прошлое осуждается ими уже потому, что оно прошло. Достоинства настоящего историк видит в том же, в чем Екклесиаст видел преимущество живой собаки перед мертвым львом. Задачей истории становится оправдание целей и задач современности при небрежении целями и задачами прошедших эпох. На историю силой налагается идея «прогресса», всё чтобы доказать, будто целью всех прошедших времен является современность. Но если история не заканчивается настоящим, то ее цели – если у нее есть цели – находятся за пределами современности, а мы не судьи, но такие же деятели и борцы или страдатели, как и наши предшественники.

\*\*\*

По законам своего мышления ум строит здание философии, и в отдаленных покоях этого здания находит свои истины, которые, однако, – всего только *истины человеческого ума*. Здесь непримиримое противоречие философии. Истин следует искать выше или ниже плоскости нашего ума, но только не в нем самом. Здание философии может быть сколь угодно величественным, но в любом случае это только еще один дом, построенный человеком. Только добытое душой без помощи разума имеет ценность. Истины, от разума полученные, не спасают. Оттого-то и мечется душа в поисках опьянения, опасности и любви, – потому что только выйдя за пределы разума, можно найти такую правду, ради которой стоило бы жить. Кто не станет безумным, тот не узнает счастья. А поскольку стремиться можно только к желанному, только счастье может водить нас на наших путях. Выгода и рассудок – плохие учителя человека. Нужно, нужно быть безумными, чтобы

достигать счастья или хотя бы мечты о счастье. Всё высшее человеческое, то есть божественное, достигается только через безумие или мечту.

\*\*\*

Как ни странно, в области человеческого только духовное обладает оплодотворяющей способностью. Невозможно представить себе культурное развитие, которое бы двигалось исключительно материальными достижениями, оно с ними только существует рядом, да и то не всегда. Все материальные достижения таковы, что их нельзя передать по наследству; сила и богатство – ценности одного дня. Время силы и всяческого изобилия может быть скудно в духовном отношении; оно может гордиться своей плодovitостью, но останется бездетным, потому что *детей в духе*, о которых говорят Платон и апостол Павел, у него не будет.

\*\*\*

Есть два рода мыслителей: одни вырабатывают свои определения, другие пользуются чужими. «Научность» в обычном понимании состоит в готовности пользоваться чужими словами; оттого-то собственное содержание «научного» труда, особенно в области знания о человеке, может быть ничтожно мало. Тому, кто пользуется чужими определениями, остается только разрабатывать тонкости уже готовых понятий: это хлебное дело, которым занимаются многие поколения. Но тот, кто копает так глубоко, что уже не находит готовых слов для описания своего опыта, – он становится либо отверженным, либо основателем собственного учения. Может быть, у него будут и ученики, занятые тонкостями учения, но только не исследованием и поиском *своего языка*. Общераспространенный язык, общепринятый набор понятий облегчает общение, но крайне затрудняет выражение новой мысли; кто не сломает свою речь и не создаст ее заново, не скажет человечеству ничего нового.

\*\*\*

Либо – и это основной вопрос – мы признаём в человеке божественное, особенно во всём, что его потрясает и просветляет, и не в последнюю очередь в любовных переживаниях, – либо видим в нем только случайность, игру частиц, пар над водой. Современность готова признать в человеке *пар над водой*, но не понимает, чем ей это грозит. Защитники материализма думают, что им всё-таки удастся, развенчав человека, сохранить для себя семейные радости, привязанность детей, счастье иметь родину... Они отвергают главное, но надеются удержать второстепенное. Если ближний твой – только *пар над водами*, что тебя к нему привязывает? Чем его жизнь ценнее жизни пара? Чем его любовь и привязанности дороже движений ветра? Кто видит в человеке ветер, тот и относиться к нему должен, как к ветру, как к движению воздуха, потоку частиц, из ничего идущему в ничто... Однако же нет: материалисты, как будто бы отвергая всё, надеются сохранить семейную жизнь, или хотя бы радости взаимной привязанности, и охраняющий эти радости государственный порядок, хотя какой же «порядок», кроме определенных физических законов, применим к беспорядочному движению частиц?

Уже второе столетие мы имеем возможность наблюдать людей, которые думают, будто, отвергнув Бога, можно продолжать пользоваться Его дарами. Они возвращают Господу совесть, душу и любовный дар, но хотят удержать при себе закономерно устроенное и человеколюбивое государство, личную свободу и безопасность, охраняемые в свою очередь тем же ангелом, которого они не желают видеть возле своей колыбели и ложа смерти... Богу они хотели бы отдать Божово, а себе оставить кесарево, то есть силу и власть, власть и силу. И общество, над входом в которое написаны эти слова, говорит о себе как о самом просветленном и человеколюбивом в истории!

\*\*\*

Чтобы привить человечеству «научное мировоззрение», нужно прежде избавить его от духовных потребностей. Чтобы избавить его от духовных потребностей, нужно заменить их какими-нибудь другими, лучше всего – противоположными, то есть материальными. Нужно еще привить ему *необходимую ограниченность*, без которой никакое научное мировоззрение невозможно. Удивительно только, что господствующий позитивизм (и это еще в лучшем случае позитивизм; на деле и позитивизм слишком духовное явление для современности) надеется

истребить духовные корни человеческой жизни, но сохранить их побеги и цветы и плоды: устроенное общежитие, искусство, человечность и, главное, веру в осмысленность жизни. Как раз искусство и вера в осмысленность жизни и падут первыми, и уже падают, без признания духовной природы человека и независимости его ценностей от мира мертвых вещей. И устроенному общежитию и человечности не на чем станет держаться, потому что из этого здания также вынут краеугольный камень. Ни из какого положительного и научного воззрения на человека не следует, и никогда не будет следовать, что этого человека нельзя обманывать, мучить и убивать.

\*\*\*

Мудрость и поэзия обитают вместе и редко появляются по отдельности, и если одна из них дурно отзываясь о другой, то это значит, что они просто находятся в ссоре, а речам ссорящихся друг о друге нельзя доверять – вражда всегда заставляет говорить о другом столько дурного, сколько мы в нем раньше видели доброго... Мир, правда, предпочитает принимать либо мудрость, либо поэзию поодиночке, а чаще всего гонит от себя обеих.

\*\*\*

Не так уж трудно показать, что Герцен был неправ и что поклонники «разума» вообще заблуждались, да только отрицательные доводы имеют отрицательную и ценность. Я говорю: «показать», так как в этой области не доказывают: доказательства здесь не имеют веса, поскольку подбираются разумом для убеждения разума же. Спорящие стороны редко задумываются о том, есть ли нашим доказательствам какое-нибудь соответствие в природе вещей, о которых идет спор. Наш опыт, опыт самой недавней эпохи, говорит, что *силы отвечать на вопросы, возникшие за пределами разума, разум не имеет*. Он блестяще разрешает им самим поставленные задачи, помогает добывать пищу, убежище и удовольствие, но перед вопросами душевной жизни теряет голос. Разуму нечего ответить на вопросы души; его область самым коренным образом ограничена, и если мы ищем Правды – не Пользы, – нам остается только рваться за пределы разума и предлагаемых им ответов. Герцен страшно заблуждался; разумно подбирая доводы, я могу доказать это другим людям, но – поскольку Сократ ошибался и «правильно составленные речи» всё же не составляют высшего блага души – что мне в этом доказательстве? Время наше больше не требует доказательств. Вспомним Достоевского: сначала в «Братьях Карамазовых» увидели оскорбление святынь, потом стали видеть пророчество, нам же в них остается видеть только пронизательно указанный факт. Да, дело с человеческой душой обстоит именно так, как показано Достоевским, и здесь уже нечего доказывать. Но наше положение от этого не легче. Наше душевное беспокойство – *религиозное беспокойство*, назову его настоящим именем, – не устраняется тем, что предвидения Достоевского более чем сбылись. Разум – не человек! – действительно *существует постольку, поскольку сомневается*, и даже видя битву Бога с дьяволом, о которой нас Достоевский предупреждал, разум будет продолжать сомневаться. Сергей Булгаков остроумно и убедительно показал, что «философия Герцена ниже духовных запросов его личности», но душевная борьба Герцена устарела меньше, чем его философия. Те страницы «Былого и Дум», где Герцен расправляется с собственными надеждами, до сих пор современны. Я знаю, душа моя знает, что Герцен вполне ошибается: по выражению князя Мышкина, «скользит мимо чего-то самого главного, как скользят все атеизмы», – однако и на противоположной стороне нет покоя. Если Сергей Булгаков нашел себе прочный камень, на нем же и утвердился, то особенность нашего времени в том, что все прочные камни порасшатаны, утвердиться – не на чем. Можно только искать.

\*\*\*

Наука предпочитает не обращать внимания на человека. Вернее сказать, в науку принято входить, как-нибудь наскоро объяснив человека и общество, чтобы больше ими не заниматься. Ученый пробегает *мимо человека* к своим химии и биологии, а чтобы оправдаться, говорит о душевной и общественной жизни примерно следующее: «Да, всё это прискорбные пережитки средневековья, варварство, животные инстинкты, похоть и жадность, но им немного осталось: разум уничтожит всё это; скоро, скоро кончится предварительная история и начнется новая эпоха...» Человеческая душа – как бы тот колодец, в который, не видя в нем дна и пользы, торопится плюнуть всякий проходящий по дороге познания. Долг исполнен, движущие силы всемирной истории найдены, душевная жизнь *объяснена*, то есть признана если и существующей,

то неважной. Теперь можно заняться настоящей наукой... Человеку дается такое «объяснение», которое избавляет от необходимости что-либо объяснять: остается только дожидаться мирового переворота, начала эпохи, когда восторжествует, наконец, «разум» и будет осуждена как «неразумная» вся духовная жизнь человечества от начала времен. Как и всякое революционное мировоззрение, этот взгляд избавляет от беспокойства и тягостной необходимости мыслить. Все неугодные «разуму», – то есть данной мыслящей личности (такова обязательная подмена, поскольку речь идет о разуме), – явления объявляются «ретроградными» и как бы несуществующими, что очень удобно для отведения требований нравственности, религии и культуры. Необходимо признать, что в основе современной науки – желание, воля, страсть *пройти мимо человека и его души*, т. е. факт несомненно психологический, а признав здесь психологический факт, можно и развенчать это стремление вместе с его притязаниями на последнюю истину.

\*\*\*

...Выясняют, какое место в мозгу надо раздражать, чтобы добиться от тела определенного отклика, и это называется *изучением человека*. Высшую человечность видят в том, чтобы человека ни в грош не ставить, но при этом сохранять видимость к нему уважения, хотя вполне уверены, что никакого уважения он не заслуживает. Даже больше: чем более материализм развенчивает и презирает человека, тем более заслуг он видит в сохранении какой-то неестественной, натянутой «человечности». Впрочем, это относится только к тем материалистам, которые бессознательно остаются христианами в своем отношении к ближнему. Материализм новейшего уклада уважает в человеке только потребности тела, так называемые «естественные», поэтому он внутренне демократичен и главную задачу видит в равномерном распределении удовольствий. Борьба с этим направлением бесполезно; оно не заслуживает даже спора; противопоставить ему можно только напряженную жизнь духа и ее плоды – создания культуры. Я говорю: «не заслуживает даже спора», потому что *с соблазнительями не устраивают прений*. Всякий, кто приглашает человека свернуть с трудного пути на легкий, есть его нравственный враг. Корень нравственности в труде, понимаемом в самом широком смысле; кто не трудится, тот не имеет ни нравственности, ни религии, ему просто, – как я говорил уже, – «не о чем молиться».

Заявляя это, я и в мыслях не держу спора с материализмом. По словам одного мудреца, «истин много, как листьев в лесу». Каждая истина ведет человека по своей особой дороге так далеко, как он только может зайти, и приводит к особенной и только этой истине присущей цели. Личное развитие – плод постоянной борьбы и внутренних решений, каждодневный выбор пути, определяемый всеми прошлыми предпочтениями. По-настоящему девственны, т. е. поддаются убеждению, только те люди, которые ни разу в жизни не предпочли одну истину другой. Они находятся на исходе путей и могут быть увлечены в любую сторону. Все остальные, кто выбрал хотя бы раз, идут по дороге своих истин, чтобы в конце испытать их годность. Истины – закончу на этом – даются человеку не затем, чтобы на них успокоиться, а затем, чтобы ими жить, выбрав один раз со всей страстью, и дойти по своему пути до конца. Истины, которые не выдержали такого испытания, уходят из мира; истины, путь которых нам удастся пройти до конца, остаются.